

Анатолий Байборodin

ТВОРЕНИЕ РУССКОГО ДУХА

О прозе Владимира Личутина


ИТРК
Москва
2008

**ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Б18**

Байбородин А. Г.

Б18 Творение русского духа.

— М.: Издательство ИТРК, 2008. — 44 с.

ISBN 5-88010-003-0

В издательстве ИТРК вышли произведения Владимира Личутина: «Душа неизъяснимая (размышления о русском народе)», трилогия «Раскол», роман «Скитальцы», «Миледи Ротман», «Беглец из рая», сдан в печать и скоро появится в продаже сборник повестей «Последний колдун» в котором впервые публикуется его автобиографическая повесть «Сон золотой».

Нам часто задают вопросы: почему у вас в издательстве чаще других писателей выпускаются книги Личутина? Мы отвечаем: это большой мастер художественной прозы и он, достоин постоянного пристального внимания к его трудам.

Нашу оценку разделяют многочисленные, поклонники литературного таланта Владимира Владимировича, присылающие письма и заявки с просьбой о приобретении его книг не только из дальних уголков России, но и из Казахстана, Белоруссии, Украины и других государств.

В последнее время в издательство поступают просьбы об издании полного собрания сочинений В. В. Личутина.

Свои отзывы, пожелания и оценки творчества Личутина посылают в издательство ИТРК писатели, литературоведы, критики.

Интересные суждения о прозе Личутина изложил преподаватель Иркутского государственного Университета факультета филологии и журналистики, писатель, автор многих книг, удостоенных литературных премий Анатолий Григорьевич Байбородин.

С его размышлениями мы и решили познакомить читателя.

ISBN 5-88010-003-0

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© А. Г. Байбородин, 2008
© Издательство ИТРК, 2008

«Если кому-то и по плечу сегодня этот труд — художественно изъяснить неизъяснимое в русской душе, заповедным русским языком сделать отчетливый отпечаток вечного над перетекающим настоящим — так это только ему, Владимиру Личутину.»

Валентин Распутин

О ПИСАТЕЛЬСКОМ РЕМЕСЛЕ

После обложной, знобящей душу осенней мороси, когда промозглый дух, словно палый лист, жухнет в сырой и стылой тоске, вдруг милостью Божией прилетит ветер-верховик, порвет серую наволочь и в голубые небесные прогалы отпахнуто и вольно хлынет солнце, и согреется озябшая земля, заискрятся в солнечной ласке влажные листья, поздние цветы и травы, закатным румянцем смущенно зардеют деревенские окошки, где ...словно лики на стемневших иконах... смутно оживут родные лица.

Вот и нынешнюю русскую прозу заволокло мороком: откроешь пухлый журнал или свежеиспеченную книгу, осилишь страницу из праздного любопытства, да и захлопнешь в сердцах — читиво. И уже не верится порою, что сквозь «книжный» смог сможет пробиться ласковый и теплый, природный русский свет.

И ранее случались у меня, книгочeya искушенного и ворчливого, подобные видения, ощущения, когда, бывало, ночи напролет, вдохновенно и просветленно читал прозу Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, Мельникова-Печерского, Шмелева, Шолохова, Шергина, а последние четверть века и Шукшина, Абрамова, Астафьева, Носова, Распутина, Белова вдруг настигло ощущение солнечного света посреди морока, даже если описывались сырое навечерие или морозные потемки. Подобное же чувство посещало меня, когда читал очерки, повести и романы Владимира Личутина, и особо трилогию «Раскол», где любомуудро и краснопевно, горделиво и сострадательно запечатлен народ русский с бескрайними просторами его исторической судьбы.

Разумеется, издательская и писательская державная элита ведает, что творчество Владимира Личутина — явление русской литературы, более того, явление русского народного духа; и так вышло бы кстати, если бы нынешние российские издатели раскошелилась на собрание сочинений писателя.

В последние десятилетия канувшего века плодное древо русской прозы осеняло российскую словесность густолиственными ветвями «деревенской», «городской», «исторической», «военной» литературы, но вольной и самостийной ветвью, едва соприкасаясь с «деревенской», наособицу росла ветвь личутинской прозы, широкому читателю малодоступной, хотя по духовной и художественной силе не уступающей ей.

В произведениях Владимира Личутина даже в лета тихо царствующего безбожия исподвольно жил православный дух; на постсоветском поле уже зазвучал полногласно, а в трилогии «Раскол» даже и возопил горящими устами староверов — Христовых страдников. Хотя православный дух любимых личутинских героев (кроме героев «Раскола») язычески свивался с ликующей песнью плодородию земли и чадородию женщин; Отец-небо наливается любовной грозовой силой, а Мать-земля трепетно жаждет любовной влаги, чтобы родить из себя новую жизнь. (Не случайно писатель Тимур Зульфикаров весело повеличал Личутина «северным Джованни Боккаччо», хотя итальянскому возрожденцу с его «Декамероном» до личутинских «любовных од», как до небес, ибо в них тысячелетия мистических и поэтических воззрений славян на земную и небесную природу, слитую с человеком.) Почитая небо и мать-сыру землю, личутинские герои-поморы поклонялись и морю-океану, кормящему, взыскующему, воспитывающему и наказующему, если душа безвозвратно запродала князю тьмы. Но в личутинском любовном поклонении и матери — сырой земле, и морю-океану нет языческой мистики, но живет лишь образное мировыражение, как в «Стихе о голубиной книге», где природа — уже не божество, но Творение Божие. Вспомним:

Солнце красное от лица Божиего,
Млад светел месяц от груди Божиих,
Звезды частые от риз Божниц,
Зори белые от очей Господних,
Ночи темные от опашня Всевышнего,
Громы от Его глаголов,
Ветры буйные от Его дыхания,
Древен дождик и росы от Его слез...

Вера в личутинских героях — мучительная ратьба Божиего и демонического. Если, скажем, старухи из повестей Валентина

Распутина, напоминающие целомудренных скитских стариц, — сурово учительны, нравственно завершены и в духовной цельности неколебимы, почти святы в миру, то героини Владимира Личутина, особенно из творческой богемы, мечущейся меж городом и деревней, меж кабаком и храмом, сколь откровенны в плотских страстях, столь же искренны и неистовы в покаянных молитвах, в ненависти ко греху. Случалось, и великие грешники, когда в них Господь совесть пробуждал, в страстном молитвенном покаянии, в суровой постыбе, в отрешенном от мира служении Богу и людям обретали святость. Вспомним евангельскую Марию Магдалину, легендарного разбойника Кудеяра. Героини Личутина не теплокровны, а, как рек святой Иоанн Богослов: «Поелику ты тепл, а не горяч и не студен, извергну тя из уст Моих». Дух мятежных героев Личутина нередко созвучен духу героев Достоевского с их иступленной духовной бранью и мучительным обретением Света Божиего, хотя степенной очерковой описательностью, непостижимо загадочными, «упертыми» характеристиками близок писателю к Лескову. Впрочем, все эти сопоставления весьма относительны и приближительны.

Помню, творчество писателя в молодости было для меня подобно сладким запретным плодам; оно вошло тогда в российскую книжную моду, как чтение элитное, для избранных. Да и писатели Личутина близкие духом и словом, тогда уже именитые, хвалили ранние повести неведомого мезенца. «В семьдесят втором году написал повесть «Белая горница, — вспоминал писатель. — Жил в общежитии, не было жилья, прямо на тумбочке возле кровати и сочинял повесть. Кроме меня в комнате ещё четверо; лежат на кроватях, на меня поглядывают и незлобиво ухмыляются, отпускают остроты; дескать, стучи, дятел, может чего и наковыряешь. А к тому времени уже появились романы Абрамова, Белов написал знаменитое «Привычное дело», Распутин — замечательный «Последний срок», Астафьев — удивительный «Последний поклон».

«Деревенская» проза, возможно, еще топталась бы растерянно на выбитой до камня, опустевшей поляне подле избы-соборни, то чутко приныкая к матери-сырой земле, скрадывая на погостах голоса погребенных отичей и дедичей, то робко взирая в маловедомые небеса в смутном ожидании Божиих откровений; и, может быть, подивив на прощание украсным простонародным словом, угасла бы вместе с эхом колхозного мира. Именитые «деревенские» писатели, создав талантливые народные произведения, в нынешнем веке уже мало писали чисто художе-

ственную прозу, но с тоской и горечью отпевали русскую народную литературу: лежит, де, под божницей в красном избяном углу, дышит на ладан российское село, со дня на день сволюкут на могилки, и умрет вместе с ним, развеется на чужебных ветрах мудрое и совестливое крестьянское слово, а без слова умрет и словесность русская. Критик Валентин Курбатов пропел русскому слову «со святыми упокой»: мол, отпишут свое Василий Белов да Валентин Распутин, и русская народная литература завершит свой величавый век, ибо и народа уж нет — бредет хладнодушная, безголовая, безголосая толпа, а коль нет народа, то нет и языка народного — заросло ядовито яркой травой-дурниной словесное русское поле.

И в это, увы, литературное безвременье вопреки «родимой» власти, проза Владимира Личутина вдруг засветилась над Русью, появились романы «Миледи Ротман», «Беглец из рая», «Девяносто первый год. Вид из деревенского окна», трилогия «Раскол», словно посреди черной таежной гари дивом дивным одыбали матерые кедры, густыми кронами припав к спасительным небесным родникам.

* * *

Если издать все произведения Владимира Личутина, выйдет многотомное собрание сочинений; писатель уже на творческой заре, когда доводил до ума поморские повести, замыслил, ни больше, ни меньше, запечатлеть в книгах всю судьбу России, о чем и поведал в беседе: «Создавая повести, мне хотелось показать всю судьбу России через судьбу северной деревни Вазицы, где прописаны родословные древа героев, кочующих из повести в повесть, чтобы жизнь человеческая в череде поколений не имела ни начала, ни конца. Замыслил этакую сагу. Трудность писания таилась в том, что наработанный материал нельзя было сразу использовать, его нужно было на несколько произведений, — десять, пятнадцать, двадцать — у меня замысел был гигантский и терялся во времени. Я написал шесть повестей и роман «Фармазон» из жизни деревни Вазицы, где герои мои кочевали из повести в повесть... И споткнулся в недоумении: зачем я это пишу и кому это нужно? Стоял на дворе восьмидесятый год и такая тоска была на душе, — хоть стреляйся...»

Благословен труд во славу Вышнего, во благо ближнего, во спасение России, а уж Личутин — литературный трудяга, каких мало на Руси; за всяким большим и малым произведением писателя, а уж тем паче народно-историческим, подобным трилогии

«Раскол», — и отрадный, и азартный, и маятный, а порой и душевно надсадный труд, неспешное, пристальное оглядывание, осмысление необозримых мистических, историко-этнографических, народно-поэтических источников для постижения русской судьбы, русской души, а потом и запечатленного столь живописным и музыкальным, народным и природным образным слогом, коим подстать и стихи слагать. Так созданы романы, очерки о родовой памяти и простонародной этике, вошедшие в книгу «Душа неизъяснимая»

Но даже если писатель и, притулившись на пенке, сочинит некорыстную заметку в газету «Завтра» либо в «День литературы», и ту не в простоте, что родня пустоте, и там, в осьмушных заметушках, — глубинное осмысление вечной брани солнликого дня и темной ночи, и там — затейливый, непостижимо причудливый, как народ и природа, вдохновенный художник, живописующий благолепной речью. Читая романы Владимира Личутина, узишь странника плывущего штормовым Северным морем, потом без усталы, подсобляя черемуховым посошком, бредущего по метельной и заснеженной, слякотной и промозглой древлеотеческой Руси. Странники — поморский рыбак и зверовщик, пахотный мужик и царев стрелец, незрячий былинщик с гусями и острословный скоморох, христорадник с вертепной звездой и мезенский инок в ветхом холщовом рубише, гремящий веригами, монастырский летописец, в сокровенных писаниях истлевший плотью и неистовый старовер-распопа с божественными глаголами на спекшихся устах, что на церковных папертях и вечевых соборных площадях, в избах и теремах горячо и запальчиво костерит еретиков, а потом слезно молит братьев во Христе любить и оборонять Русь святую православную, ибо «нет Руси без Бога, но нет и Бога без Руси».

Увы, что греха таить, не всякому читателю, приваженному к беллетристическому чтиву, по духу, разуму и смиренному терпению личутинские романы, а уж тем паче трилогия «Раскол» — рысью по сюжету не пробежишь, запалишься, поймаешь себя на кромольной мысли: да ведь ты, братец, одолеваешь не художественную прозу в привычном читательском восприятии — прозу, что случается и душевной, и мертвотушной, и яркой, и тусклой; ты открыл глубинное и бескрайнее, степенное и вдохновенное исследование русской судьбы, русской души от Древней до нынешней Руси, при этом воплощенное истинным русским слогом. В «Расколе», сливаясь голосами, тянут псалмы церковные клирошане, причитают на тризнах северные вопленницы,

воспевают любвеобильно, хмельно и радостно крестьяне, казаки, зверовщики да рыбаки, буйно веселясь после сезона и страды да по великим Христовым праздникам.

ПИСАТЕЛЬ И НАРОД

Мои встречи с Владимиром Личутиным, и мимолетные, и с беседами, можно счесть по пальцам на руке; но всегда помнится долгий, проникающий в душу, вопрошающий погляд, от которого иной раз и суетливо теряешься, и слышится добротная речь, то плавная, мудреная и цветистая, хотя и утененная скорбью, когда беседа о некогда вольном, ныне полоненном русском простолюдые, то булатно звенящая, когда разговор с крутого яра летит в российскую политику, где сукины сыны, обчистив народ до нитки, оплевав с ног до головы, на свои пиры во время чумы заказывают скрипичную мелодию «семь сорок», а народишку русскому — гробы. Впрочем, пока не о том речь... Подивил и северорусский говор, не вытравленный книжной грамотой, столичной жизнью.

В благословенный и тихомирный застой про писателей из простолюдыя комики шутили: де вышел из народа и хрясь харей в грязь, да и, не солоно хлебавши, снова убрел в народ. Владимир Личутин в народе народился, в народе и сгодился; и может часами с любовным знанием толковать о деревенском житье-бытье, о избе и огородине, о грибах и дикоросных ягодах, о рыбалке и охоте, ибо уж четверть века веснами, летами и осенями художнически крестьянствует в глухоманной рязанской деревушке, попутно промышляя рыбу на озерных зорях, добывая ягоды, грибы в окрестных лесах, а то и с ружьишком бродит по глухариным и косачиным токовищам, по утиным озерушкам и болотинам. Но в отличии от преуспевающего и достаточного исторического писателя — героя романа «Любостай», что, убегая от суетного и богемного томления духа, сел на землю крестьянствовать, дабы «слиться с народом», Владимир Личутин не ради лишь душевной утехи очутился в рязанской малодворке, но и для природного прокорма. Смешно и горестно было читать в повествовании «Девяносто третий год. Вид из деревенского окна», как Личутин с женой Евдокией, дабы запастись мясом да салцом растили ненажорного поросся, от коего сами набедовались, и скотинку едва не уморили. Зарекшись на будущее больше не связываться со свинским промыслом, все же дорастили, и даже изготовили рождественский гостинец — свиной оковалок — для друзей Александра Проханова и Владимира Бондаренко.

Ныне выйти из крестьянского простонародья «в люди» можно лишь чудом — на дорогу-то не наскребешь по сусекам, гдемышь с голоду повесилась, не говоря уж о плате за учение, проживание и харчевание; а в советскую пору из крестьянского да ремесленного корня взошла едва ли не вся ученая, художная, военная и правящая элита, а уж писателей деревня породила добрую ватагу. Но бывало и так: иной писатель — не бесталанный и даже, случилось, повеличенный народным — из народа выбредет, да вскоре и запомнит обратную тропу; и так, бывало, далеко от простонародья укрылит, духом и словом загостившись в книжном да салонном мире, что уж и нюх не чует запах ржаного калача, вынутаго из чела русской печи, и сердце, поросшее барской шерстью, не слышит, о чем поет народ, о чем страдает.

Вот и народился поток, криводушной, фарисействующей «русской» поэзии и прозы. Но есть роковой закон: с каким страданием по своей душе и состраданием по душе ближнего выплеснулось слово, таким его примет и читатель, ежели не простак и не лукавец. Откуда писательское слово проросло, туда и словесные плоды падут: из головы, — в голову, из сострадательного сердца — в сердце, из прозорливого брюха — в брюхо, а колы из подбрюшья — туда и скользнет. Не послужить разом и Богу, и мамоне, народ — чуткий читатель — мигом учует фальш.

РЕКА РУССКОЙ СУДЬБЫ

Помню, три дня и три ночи обитал в избенке на Байкале — глухой распадок, зажатый хребтами, тишь, синеватый по вечерам снег, ночью звездная россыпь, покойничьи белая луна над черным гребнем кедровых вершин — и, протопив русскую печь, сварив некорыстное хлебово, читал «Раскол» Владимира Личутина — жил в русском средневековье и светло, и грешно, и трудясь, и молясь, и каюсь во грехах, да и не заметил, как истаяла ночь, засинели оледенелые окошки, сморил сон. Эдак прочел и романы «Миледи Ротман», «Любостай», «Скитальцы», попутно и «Сукина сына» в прохановском «Завтра», а ранее и поморские очерки. Моя творческая судьба редко оборачивалась ко мне приветным ликом, чаще уныло ссутуленной спиной, и, к тоске и скорби, годами вводила от писательства, коим искусился смолоду, принуждая добывать хлеб насущный около литературы. Но неласковая доля читать не воспретила, вот и читал романы Владимира Личутина, и до того дочитался, что во вселенской стихии личутинского духа и слова моя тихая творческая суть истаяла на слепящем

солнопеке унылым вешним снегом. Но не светлую либо черную зависть разбередила стихия — гордость за родное простолоудье, не вырожденное вопреки кощеевым чарам, коему и ныне посильно являть миру величавые дарования. Читая «Раскол» да и прочие романы Владимира Личутина, уверился: народ русский, избитый, испитый, шишами с большой дороги европейской раздетый до исподней рубахи и кальсон, денно и ночью оскорбляемый и унижаемый, Божиим промыслом уберег в душевном утайке творческую силу, совестливость, любовь к Вышнему и ближнему. Многое, о чем широко и вольно пишет Личутин, и я пытался запечатлеть: воспевал да и оплакивал с причетью и мать-сырую землю, куда заруют кости, и небеса родимые, куда укочует грешная душа, и леса да степи, реки и озера, над коими в сонме сродников будет витать душа. Но если моя песнь — песнь одинокого отрока, юнца и мужа, то у Личутина — хор, когда, чудится, поет разом весь народ русский, обитающий и на земле, и в Божиих небесах.

С отрядным дивлением в былые лета читавший северные повести Личутина, а потом и романы, не загадывал писать впечатления, пока не одолел трилогию «Раскол», словно нагостился в курных крестьянских избах с малыми ребятами и телятами в кути, в дородных резных теремах, и под заунывный колокольный трезвон удалился из смутных городищ, помолился в скитах, отрешенно чернеющих посреди синеватых снегов, в монастырях, пронизанных поморским стылым ветром, в заиндевелых монастырских тюремках, и, милостью Божией переплыв штормящее северное море, брел вьюжной тундрой, буреломной тайгой, после каменных россыпей высокогорными лугами, снежными гольцами и, выбиваясь из сил, взобрался таки на поднебесную вершину русского хребта и, задыхаясь от явленного чуда, вдруг увидел всю Россию от цветущей и дымящейся земли до смиренной небесной синевы.

«Замыслив написать о русском церковном расколе, стал я рыться в документах, архивах, перечитывать литературу — вспоминал Владимир Личутин в беседе с литературным критиком Владимиром Бондаренко. — И увидел необыкновенный сложный мир Руси XVII века. Оказывается, Россия жила в необыкновенно красочном мире. Какие наряды были? Какие обряды? Богатейший и чувствами, и красками, и утраченный нами национальный русский мир. Повозки, упряжь, домовая утварь, наряды — все было в цвете. А церковный мир? Роспись храмов, изразцы, колокола — богатейшая палитра. И в этом красочном мире готовилась уже тогда какая-то мистическая враждебная сила, чтобы стереть все краски, обеднить русскую жизнь. Этот раскол, этот собор 1666 года, обратите внимание

на дату, уже триста лет рушит Русь. Взяли русский воз, с русским скарбом, с русскими обычаями да и опрокинули некие дюжие модцы в ров, и призасыпали землей, думая, что навсегда.»

Задолго до прочтения «Раскола» изучал я древлеотеческий мир, сподобился даже побывать в фольклорно-этнографической экспедиции, записывая стариков и старух из старообрядческих (семейских) сел Забайкалья, потому и отважился написать о «Расколе. Задумал-то поначалу невеликую статейку, даже и написал нечто близкое отзыву, но, как разгреб скопленный материал, понял, что в малое большое не уложить, и вот, уже не укрощая пера, положил-ся на авось; куда-нито да вывезет кривая кобыленка.

Первое всеохватное впечатление от трилогии — непостижимые для нас, нынешних русских, не говоря о чужезверцах, великие духовные страсти наших предков.

Личутин не кидается, сломя голову, в реку народной судьбы, то умиротворенно благодушную, то омутную и бурливую,— но, собравшись с духом, одолев робость, перекрестясь и положась на волю Божию, ступает неторопливо и настороженно, ощупывая зрячим посощком дно, и не загадывает, что перебредет или переплывет реку. Вздыхает с горькой обреченностью: «Это, конечно, сумасбродство — показать русского человека во всей полноте. Да и как осмыслить его, успеть очароваться, не остынув, побродить в потемках души по всем закоулкам, если он вроде бы в настоящем, вот перед очию во всем естестве, но уже и в прошлом; исчез без шума и гяку, как просверк безгромовой августовской молоньи, растворился на запольках деревни, откуда незарастаема дорога на кладбище; да, пропал, навеки отошел, но и невидимо, неосязаемо и неосознаваемо перетек в нас.»

Хоть и начитан, переначитан я, но в память из века позапрошлого и прошлого не является письменное произведение, где бы, как в трилогии Владимира Личутина «Раскол», столь явственно и полно, столь ярко и подробно ожила пред очами, вся средневековая Русь в смуте и ереси, но и в неутолимой жажде святости во Христе. Юроды — чудотворцы и пророки, обличители мирских грехов и никонианской ереси, грозно звеня железными веригами, — месяц колючие снега и стылую дорожную слякоть омертвельными плюснами, смиряют норов телесными страданиями, мучительно плывающими плоть ради вечной жизни подле Иисуса Сладчайшего; пещерные отшельники, иноки-пустынножители, монастырские насельники, постигающие Отца и Сына и Святаго Духа в надсадном труде, в суровой постыбе и страстной мольбе, священницы, верно служащие Богу и ближним, милосердцы, тайно

отдающие христорадному прошаку свое последнее рубище, русские ратники — Христовы воители, не жалеющие живота за веру, царя и Святую Русь, за единовверных други своя.

Любя народ так, как можно любить лишь мать и отца, живя бок о бок с деревенским простолюдем, деля с ним хлеб, соль, скоротечные житейские радости и вековечные скорби, писатель не обряжает народ в лубочные побрякушки, словно тряпичную, масленичную бабеню, чтобы спалить ее в Ярилином кострище, не сопливит сентиментальной слезой.

«В суете прозябает народец, все суетится, спешит куда-то на рысах, о гобине много печется, стаскивая нажитое в сундуки и чуланы, будто век достанет куковать на земле-матери; оттого и голка, свара вокруг, и то немирие, что изтиха изъедает мятежное беспокойное сердце, сгущаясь неволье в темную непогодную тучу, и вздымается к Божьему престолу, как сатанинское зловонное дыхание...» Но, спохватывается писатель, «русский человек и буйничает-то, и задорится самохвально, и бражничают, в хмельном угаре поклоняясь всем богам кряду, и вольничает без удержу лишь для того, чтобы, образуясь, еще глубже задуматься и озаботиться своей душою.»

Не обожествляет писатель даже и столь любимых им средневековых русаков, коль с горестным вздохом и даже пританненным сомнением приводит обличение святого Филиппа «У татар и язычников есть закон и правда, а в России нет правды; везде славится милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым. Сколько невинных людей страдает. Мы здесь приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Грабежи и убийства совершаются именем царя».

И этот народ оживает вдруг на державном ратном поприще, ибо русский ни с мечом, ни с калачом не шутит, и за Божию милость почтет сложить бранный живот за други своя, ведь по глаголу святого Иоанна Богослова: «Больше сия любви никто не имеет, да кто душу свою положит за други своя». «Наперво потребовалось принять мужику послушание, сломать гордыню, принять сердцем древлеотеческую клятву: «не в силе Бог, но в правде», приклониться под стяг за веру, царя и отечество, чтобы самые малые и самые грешные на сей земле, почуяли себя сродниками. И всяк вдруг услышал себя русским, и этого чувства, как и в годы смуты, хватило для победы. (...) И в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою.»

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ

Большую путаницу в историю и религиозную этику староверчества предвнесли, как ни печально, и те, кто исследовал и описывал «старую веру» и в XX веке: одни от слепой восторженности перед поборниками огнепальной веры, исповедниками древлеотеческого церковного чина, хранителями нравственной крепости, русской старины; другие, видя в старообрядчестве лишь религиозный, инквизиторский фанатизм, культурное невежество и национально-этическую замкнутость, которая неизбежно приводит к «замиранию» и последующему вымиранию или растворению этноса среди других этнических сообществ; третьи и вовсе от безбожного, материалистического взгляда на раскол, своевольно опуская его с религиозно-мистических и национально-охранительных высот до языческой суеверности, хозяйственной обрядовости и социального противостояния помещиков и крестьян.

Социальный, классовый, житейский мотивы, разумеется, не верховодили в расколе, поскольку эта русская трагедия — явление духовно-религиозное, национально-культурное, и писатель Валентин Распутин по этому поводу верно сказал: «Если социальные революции — это бунт недовольной плоти за своё благополучие против верховности существующего права, то расхождения внутри духа, раскол внутри учения, — это факт того, что дух ослаб или заблудился хочешь, по тем и служишь».

«Вопрос о благодатности той или другой ветви православия непростой для меня, — размышлял Владимир Личутин в беседе. — Так получилось, что во времена изгона в XVII веке многие русские люди попали в скиты, захолустья, скрытны, чтобы сохранить святоотеческую веру. Именно Поморье, начиная с Ярославской губернии — Вологодчина, Архангельск — эти места в основном и Волга, явились первым хранилищем старой веры. Мои предки, дальние, исповедовали поморское согласие, не ходили в церковь, которая была в Мезени — никонианская. Они служили ратманами более ста лет, начиная с 1717 года. Ратманы — это как сегодняшние начальники, администраторы. Они подвергались штрафам за то, что не ходили в чужую для себя церковь. И вплоть до XX века так было. Но я-то крещён в никонианской церкви. И так просто скинуться обратно в староверчество невозможно для меня. Я не люблю скидываться туда сюда. Я считаю, что и староверцы, и те, кто исповедует никонианство — все христиане. И у меня нет того противостояния — я как бы невольно вбираю в себя и ту, и другую Церковь. Там же простые русские люди. И моё поклонение и

любовь и к тем, и к другим. Я и писал-то роман, стягивая обе стороны правды вместе, а не поклоняясь какой-то одной из них чрезмерно. Я попытался, может быть впервые в истории всей русской литературы, написать об этом времени с позиций любви. Я писал, любя всех, всех уважая, стараясь всех понять. Сумел ли — не знаю. Но старался...»

Осмысляя в беседах староверческие гари, Владимир Личутин поясняет: «Русский человек, закоренелый в своей натуре, не мог изменять себе. Это было бы предательством Матросова, который кинулся на амбразуру, или Гастелло, бросившего самолёт вниз, — это одна форма торжества духа. Но горения староверцев были совсем другого ряда — высшего порядка. А о них писали двести лет, что это бессмысленные, тёмные люди, которые кидаются в объятия огня и отдают жизнь ни за что, за какую-то там букву «аз» или за двуперстие. Но ведь чтобы сжечь себя, нужно было иметь необыкновенное сердце и необыкновенную нравственность. Они собирались купно где-то в маленькой деревеньке, на погосте, строили избы, потом они начинивали их берестой, порохом, сухими сучьями. То есть они себя подготавливали к горению или подвигу духовному. Но они в то же время и не думали гореть. Там были дети малые, там были жены, старики и старухи, девки в самом соку и мужики. В Палеострове сгорело более двух тысяч сразу. И вот в таких стеснённых условиях они жили по несколько месяцев — до полугода и более. И они не хотели гореть, но они не хотели и веру свою отдать антихристу. И они просили одного: не приступайте к нам, дозвоьте жить так, как мы хотим. Русскому народу, уже начиная с Петра, не дают жить так, как он хочет. Их не слушали. Начинали крючьями ломать стены, выдавливать окна. И тогда они с пением стихир сжигали себя. Погибали мученически. Вот этот сам момент строения избы, а потом её возжжение — это трагедийный образ, которого может быть и не было в мире.

Давно пора уже и Русской Православной Церкви, и властям, и культуре религиозно осмыслить раскольный Собор 1666 года. Я, однажды выступая перед нашими церковными иерархами сказал, что даже глубоко и не воспринимая сердцем староверчество, но принимая душой правду человеческую, вы должны уяснить: лишь тогда наступит мир в Русском Православии, когда Московская Патриархия поклонится староверчеству и воспримет его как икону, как образ неугасимый, святопочитаемый. Да, мы понимаем, не вернуть прежнее, но чувство благоговения, чувство поклонения и чувство любви к тому, как мы жили до

раскола, — это чувство мы должны лелеять в себе. Пройдёт не одна тысяча лет, и пока будет существовать православная вера, до тех пор именно староверчество останется неугасимой лампадой и будет цензором истинности наших религиозных чувств. Но, наверное, мало кто понял меня тогда. Я юродом гляделся для многих там».

Но, с другой стороны, грех путать и староверчество Аввакума, боярыни Морозовой, юрода Феодора Мезенца и иже с ними со старообрядчеством (уже и не староверчеством) прошлого и позапрошлого столетий. Крепки были в своих древлеотеческих православных устоях староверы семнадцатого и восемнадцатого столетий, но в XIX веке религиозные крепости ослабли, и староверчество раздробилось на толки и согласия, порой мистически и обрядово близкие учениям неоязычников. К сожалению святоотеческое древо старой веры к исходу усталого девятнадцатого века, на кровавом восходе двадцатого пустило столь густолистных ветвей, что уже и смутно виделся сам хребтовый аввакумовский ствол; недаром же и приговорка шаталась по сибирской украинной Руси: дескать, что ни деревня — согласие, что ни село — толк. Случалось, в деревне-малодворке, да и на улице одной, уживались, хотя и в спорах, самые разные семейцы: и поморские, и белокрыницкие, и беглопоповские, и беспоповские, и федосеевские да окулькины, дунькины с их безвенечьем, и тюрюкановские, и гурьевские, и темноверцы, что не признавали ладана и свечей, и Бог весть еще какие. Даже, прости Господи, и дырники народились, что, подобно духоборцам, иконоборцам, баптистам, иеговистам и прочим еретикам, поклонялись якобы «Христу не мазаному, не писаному, а Христу животворящему», — молились в слуховое оконце, навреде дыры, прорубленное в избяном венце на солновсход.

Но эти мелкие секты, как тень на плетень, в мистической и нравственной сути имеющие мало общего с истинным и исконным древлеправославием, не смогли снизить величайшего в мире святомученического духовного подвига староверов времен царствования Алексея и Петра.

ВЕРА, СЛОВО, ГЕРОИ

От вечных мук спасает душу любовь к Вышнему и ближнему, надежда на спасение в жизни будущего века и младенчески ясная, умиленная вера, не тронутая умственным рассуждением; от национального нигилизма, порождающего душевный цинизм,

оберегает русских истинно народное, природное искусство, кое не от искуса лукавого, но духом и словом близкое древлеотеческим исповедально-покаянным, поучительным и обличительным письменам. Такова трилогия «Раскол».

«Верую, помоги неверию моему, Господи», — явственно слышится опаленная горячей слезой, исторгнутая из смятенного сердца, неистовая молитва, когда читаешь зачинное слово к трилогии «Раскол», сродно древлеотеческих зачинам, — исповедальное, молитвенное покаяние в грешности и худоверности души: «Господи, как бессилен ум мой; темною слепой водой залиты глаза мои; и душа без дорожного посоха, без ключки подпиральной робеет и трех верст отшагнуть от порога суетных наших лет (...)Так, может, от отчаянья и только из отчаянья выткется та сила, что удивительно укрепит мои персты, наполнит жилы, и токи те понудят скорбеющую душу исторгнуть слово, к коему давно готовилось сердце».

Хоть и робеет сочинитель перед неоглядной и непостижимой судьбой народной, но читаешь трилогию, где мирской писатель восходит в пределы горнего духа, озирает события не с шатких подмостков обиходной нравственности и безбожной духовности, не с кочки зрения бесчисленных, быстро сменяющихся друг друга «земных правд», но с великой колокольни Христовой Любви и Правды, и диву даешься, как вместился в его душу вселенский мир русского средневековья.

В трилогии «Раскол» нет свычного романной традиции верхово-дящего героя, устало бредущего сквозь долгое повествование; их, главных героев, — ватага, и так глубоко и подробно автор описывает их душевный и духовный мир, что всякий раз чудится — а не с себя ли писатель живописал героя — будь то и патриарх Никон, и государь Алексей Михайлович, и юрод Феодор, и протопоп Аввакум, и сокольничий Любимко Читаешь и видишь писателя с берестяным пестерем на горбушке; небом крытый, светом огороженный, месит, сердешный, осеннюю снежную кашу босыми, растоптанным плюснами — дождик вымочит, солнышко высушит, буйны ветры голову расчешут, либо семенит накатанным санным путем по северной Руси сквозь сумрачно обступившую тайболу, либо бредет неспешно миражными от зноя, травостойными полями, либо плавится на промысловом ватажном карбасишке и всякий раз, вознесши очеса в небеса, воспеваает «Научи меня, мать-пустыня, как Божью волю творити!», отпугивая и отженивая от души анчутку беспятого — грешное унынье.

Писатель неторопливо погружается до самого дна души героев, словно в кружало омута, в сумеречную пучину, в глохнущее,

приболоченное озериче с зеленой ряской, а ино и в родник, прозрачный яко покаянная слеза. Личутин сливается с героями, отстаивая Божью правду каждого, даже если герои, охотно, со сладостным азартом жертвуя земной своей жизнью заради истинной, не испрокаженной веры, смертно и свирепо противостоят друг другу. Скажем, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон против юрода Феодора, протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, соловецких мятежных сидельцев, и против всех, кто, не преемля греческих новин, восстал за древлеотеческий православный обычай и обряд. И уже, бывало, не зришь разумием, где писатель и где герои со своей правдой, и с кем Владимир Личутин — с патриархом ли Никоном, с мятежным ли Аввакумом, хотя и чуешь, что с испоконной Русью. И вдруг писатель, как бы очнувшись, напрямую обращается к герою: и к миленькому царю-батюшке Алексею Михайловичу, к отцу отцов, и к патриарху Никону, к батьке Аввакуму, к радетелям древлеправославной веры, — и эти оклики похожи и на подметные писания, и на челобитные, и на речи соборные, вечевые, площадные. Так у писателя складываются своеобразные отношения с героями: то он сливается с ними, то уже отстраненно, как друг ли собинный, духовник ли, супротивник ли, вопрошает в дружеской беседе, поучает, наставляет, а то и с аввакумовской страстью обличает. А то писатель уже и не с героем беседует, а с самой природной Русью: «...Плачь, замятель, вопи, снеговой, отпевай, вьюга, на всю Русь сокрушенных страдников, пеленай в белоснежные холсты еще живых, но уже погребенных.»

НИКОН

Много героев зримо оживают в трилогии, и кружат они подле патриарха Никона да царя Алексея Михайловича, то притягиваясь, то отталкиваясь.

Староверы со времен церковного раскола, словно ворота блудницы, вымазали патриарха Никона столь густым дегтем, что от облика его, Христова образа в русской земле, ныне видны лишь рога и копыта; в пору осинового гол вбить на могилку почившего в Бозе. Оно, согласно обличению юрода Феодора, и по грехам: «Ты (Никон — А.Б.) матушку нашу, православную церкву на дыбу вызнял! Руки ей вывернул, изгильник. Вот на какую муку спосылал! И нету конца той муке! Исплакались от тебя, мучитель! Улыскаешься, яко ангел, а внутри лев рыкающий!» Клянет Никона и протопоп Аввакум: «Неуж ты, отступник, не ведаешь, какую беду

чинишь и засылаешь на Русь разор и поруху. Наши деды от века двумя персты крестились.» Да и писатель и душой, и духом в согласии со староверцами, прямо и обличительно обращается, словно в живой беседе, к отцу отцов: «Миленький патриарх, не упадай в прелести! Иль запомятовал Филофея-старца наущение: де, страшися уповати на злато и богатство исчезновенное, но уповай на Всеведающего Бога. (...) Не только по Арсенову (исправщика богослужебных книг у Никона. — А.Б.) искусу, но и по твоему согласию нарушилась отеческая, заповеданная для души молитва Ефрема Сирина, с коей рождался и умирал русич, и вдруг переиначились главные завещательные слова, высеченные на скрижалях, столь согласные со славянским характером: «дух уныния и небрежения, сребролюбия и празднословия отжени от мене». Кто надул тебе в уши, будто перемена в словах суший пустяк? (...) Извечно сулят греки русским государям византийский престол, а святителям — патриаршью шапку. (Иван Грозный гнал их поганой метлой, не искусившись чужим престолом. — А.Б.) Бойтся Европа турка и ищет подмоги со стороны, а греки изнемогли под агарянами, иссякли духом и верою, растеряли досюльные привычки и былую православную гордость, почасту бывают у папы, целуют его туфлю, и даже их учителя-богословы впали в тайное униатство. Опираясь на Киевского Петра Могилу, коего ты издавна чтить, но кой презирает русских, они давно уж замыслили испроточить русскую веру и подкопать державное коренье, чтобы свалить великана. И даже доправщики книг, коими ты с Ртищевым окружили себя — и Сатановский, Славинецкий, и Полоцкий, и Максим Грек, — все они тайные униаты-базилианцы, исповедующие римские науки».

Писатель показывает многие искушения, что, словно черви под веригами, точили патриарха, коего православные русичи воспринимали, как живой образ Христа, и особенно губителен вышел искус вселенски великой власти: «Любая власть так приманчива, и сладка, и прельстительна: она дает человеку куда больше того, чем надобно смертному, и тем слабит натуру, скоро забывающую всякий зазор. А через приоткрытую дверцу тщеславия вместе с корыстью вползает искушение. Как мышь погубливает слона, проточив ему пятку, так и соблазн может сокрушить самый властный и упрямый характер.»

Но писатель не красит патриарха Никона по-староверчески лишь черной сажей, не растит ему бесовских рожек, как боярыня Морозова царю, но пишет подобно Ломоносову выходца из сермяжного простолюдья, личность в русской истории выдающуюся по

державной, духовной, творчески созидательной мощи, великого блага желающего для России мессианской — духовного да политического верховенства в христианском мире, для чего потребна «малость», — вывернуть на греческий лад церковную жизнь — подправить искаженные темными монастырскими переписчиками богослужебные книги, подравнять с греками церковные обряды. Великого блага желал кир Никон и родному народу, так искренно, горячо и деятельно любимому, ибо и сам-то не из бояр и дворян, а из крестьян, чем и гордился до смертного одра: «Я сын хрестьянский. Я только образом Христос, а плотью-то мужик. (...) Хрестьянин я, значит, крест на раменах несу, его страсти терплю. (...) Ни разу я и пальцем не обидел мужика». Образ Никона так созвучен образу былинного Ильи Муромца — сына крестьянского, атамана казачьего, насельника Дальних пещер Киево-Печерской обители, где и обрел святость через слезные покаяния за грехи, неизбежные в походном воинском служении, через страстные молитвы и суровую постьбу, через возрожденную и заполнившую душу смиренную любовь к Вышнему и ближнему. Вот и патриарх Никон не токмо иссушал богатырскую плоть строгим постничеством и надсадным трудом на строительстве монастырей, освещая душу щедрым милосердием к последнему рабчишке, но до предсмертия, подобно блаженным юродам, коим на Руси возводили храмы и часовни, не снимал вериги, под коими его черви заживо пожирали. «Никон всю жизнь шел громкой дорогой святительства, строил монастыри... и на исходе лет встал на путь святости, как те древлерусские монахи, кому Богом был ниспослан дар предвидения и учительства...»

Не все коту масленка, грянул и Великий пост, — заточил Алексей Михайлович собинного друга в Ферапонтов монастырь, где жизнь отца — отцев не всегда была мед да сахар, а и лиха хватил вдосталь, — любишь чужую бороду драть, люби и свою подставлять, — но узилище и утихомирило горделивую, гневливую патриаршью натуру, подвигнуло к осмыслению и переосмыслению церковных новин. Писатель неспешно показывает перемену религиозных воззрений патриарха, некогда грозной, немилосердной рукой столкнувшего Русь со святоотеческого пути, ибо «притомился, Никон, правду на свою сторону гнуть? не стала ведь Русь третьим Римом, не бывать ей и вторым Иерусалимом, как задумал ты.» До лихоты наслушавшись проклятий со всех сторон, Никон кается: «Грешен, грешен, Солнышко наше, утонул я в гресех, аки остарелый лось в павнах, смертно укладывая седую бороду на травяной жест-

кий ключ.» И горько сокрушается: «Все вины мира на меня одного громоздят».

Под старость Никон вроде бы и отрекся от новин, вовсе запаятовал, что натворил в Руси, дескать: «Не он насылал на Русь ветры смуты, не он разжигал сатанинские костры, рассыпая по матери-земле охапки пепла и праха, но крепко стоял за древлеотеческую веру, за что и страдать стал, претерпевая все муки. Нет, не иначил он церкви, но хотел лишь вернуть в материнское лоно, оторвать ее от латинянских проказ и польских навывчаев, к которым вдруг потянуло и царя, и весь Двор.(...) Позабывший по старческой шаткости ума о прежних своих затеях, гневался, когда поминали его новины с похвальбой иль хулой, и, недоумевая о зряшности, зыбкости споров, почасту внушал богомольникам: де, всякие служебные книги хороши, и старого и нового письма, все они будут правильны, только Господа Бога не забывайте в Троице». Давно ли обнимавший греческих церковных иерархов, из их рук принимавший новины, теперь поносит их: «Неуж неведомо было, что латины да лютеры уклонили цареградского патриарха в унию и, скупив книги, сожгли их, и досель печатают жидове в Венеции всякое непотребство, и много в тех книгах еретической отравы. (...) Гречане же когда потеряли веру, крепости и добрых нравов нет у них, ибо покой и честь их прельстили.»

Когда по милости царя Алексея Михайловича, при пособничестве лукавых и обмирщенных патриархов Востока, страдал заточником в Ферапонтовом монастыре, когда при царе Федоре Алексеевиче, вновь возведенный в патриархи, повеличенный блаженным, возвращался к патриаршей стулке, народ плакал и молился о нем, святом страдальце во Христе. «Крестьяне (...) кидались в реку вплавь, цеплялись за бортовины суденка, только чтобы взглянуть на мужицкого заступленника, Божьего сына, коего так люто пригнетали царевы власти».

«Я любил и Аввакума, любил и Никона, — толковал Владимир Личутин в беседе. — Потому что они как бы два вождя двух разных направлений христианства православного. Но это две выдающихся личности, взошедшие из глубин русского народа. И, кстате сказать, чтобы не кривить душою, хотя Аввакум у меня более удался, но Никон, которого я недолюбливал, когда брался за роман, сейчас для меня с позиции исторической правды более выдающийся человек.

Это, в общем-то, был гений. Уровня Ломоносова. Не по духовной силе, а по дарованию ума. Аввакум был одарён духом. Вот если бы их сплавить в одного, то они как раз и покажут весь

русский народ — разные его полюса. Аввакум — как символ духа, а Никон — как символ ума: и архитектор, и филолог, и философ. Он во всех областях превзошёл. В те времена он был самой выдающейся личностью. Он был вневременной человек. Я его ставлю рядом с Ломоносовым, потому что это одной мужицкой породы, одного уровня. Никон был, быть может, такого же природного дарования, как Иван Грозный. Раз в столетие природа дарит России таких удивительных людей: Грозный — в XVI-м, Никон — в XVII-м, Ломоносов — в XVIII-м, Пушкин — в XIX-м. Так и идёт. После того таких гармонических и выдающихся личностей, пожалуй, уже и не сыскать. И потому в этот ряд Аввакум не подходит. Аввакум был одарён особенной, богатырской духовной мощью и пророческим предвидением. В этом он напоминает Григория Распутина.

ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Царь Алексей Михайлович Романов, повеличенный Тишайшим, столь губительно раскачал русскую лодку, что невольно поверишь: в смиренном болоте сонм чертей водится. Воистину, благими помыслами вымощена дорога в ад: русское мессианство царя Алексея Михайловича, готового пожертвовать благом народа, вверенному ему Богом, ради духовного да и мирского блага иноземных братьев во Христе, невольно, исподволь открыло российские ворота западничеству, что, унижая, попирая святоотеческую Русь, мутным потоком хлынуло в державу, ослабленную церковным расколом. А как величаво вообразилась губительная блажь....

Витийствует царь Алексей Михайлович перед боярами: «Я боюсь, что Всевышний взыскует с меня за них, и я принял на себя обязательство, что если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их (греков — А.Б.) избавления.» В лад ему поет и духовник Стефан Вонифатьевич: «Пресвятая Троица вешает тебе крепче держи крест веры, чтоб не шатнулся. В туге, в несчастиях плачутся братья православные на Востоке, агаряне и папешники через своих ловыг и заплутаев вовсе наступили пятою на Царьград. (...) Престол великого царя Константина ждет тебя... Да будешь, свет-государь, как новый Моисей, что освободил сынов израилевых от фараонских рук жезлом-знаменем честного животворящего креста.»

Мессианство русское тут же смешалось с испрокаженной «греческой верой» и западническим соблазном, в чем царя и обличает

боярыня Морозова: «Он всему народу русскому жидовские прелести навешивает, и, де, не пикни, носи ярмо молча, хоть и блевать хочется с тех новин». Даже Иринья Михайловна, сестра царя, укоряет непутового братца: «Истолкли Божью правду в муку, да и распахали горстями по зепям...» Но и Алексей Михайлович обвиняет староверов тем же ладом: «Новая ересь жидовствующих, кто вселенскую церковь отринул, и давай мутить народ, напускать шептунов в царев Двор, и раскачивать шаткое суденко. Христовенькие, смирите гордыню! Ведь коли опрокинемся навзначай, то всем тонуть! (...) Мати Пресвятая, дай замирения Руси, вразуми несчастных, кто гордыню свою посчитал за высшую правду...»

Западнический соблазн, незаметно замутивший царскую душу, неволью породил в Алексее Михайловиче и скорбь по родному народу, де, ослепшему в темени и озверевшему в дикости, забывая, что, лишь обороняясь от обесившегося Задада, Русь и породила великую святость во Христе и творческую мощь. Стефан Вонифатьевич, считывая смутные царские помыслы, криводушно вздыхает: «Мы (русские. — А.Б.) закоснели в своей гордыне и немеем от жажды, когда вся Европа упивается из ручья старинных знаний. Красота премудрости истекает из Святой Софии, а мы в ней заколотили окна. Оле!.. Наши рабичишки позабыли крест истинный и канон, а крин веры — этот благоухающий, вечно зеленый цветок требует глубины познаний. (...) Ты чуешь, царь, откуда пришел на Русь и донныне сияет свет истинной веры?» — «Чую, Стефаний — эхом откликнулся Алексей Михайлович. — Свет нашей веры с Цареграда. За греков я готов отдать не только Русь, но и собственную жизнь»

Люто ненавидящий Никона, протопоп Аввакум, не в пример боярыне Морозовой долго поклонял под себя царя-багوشку и с отеческой жалью поучал заблудшего в трех соснах: «Не вера пала, Михайлович, а порядка в церкви мало. А вы заразу на Русь тащите в соблазн. Ежели вера на логофетстве стоит, то она от дурного ума. Такой веры нам не озобать, братцы. От нее вонько пахнет. Стоит вера лишь на смирении, духе и праведности. А какой у грека дух, ежели он грешит на дню по тридцать раз и на патриаршье место готов посадить всякого, у кого мощна потуже. Смутно мне, что вас, братки, на греков потянуло да с униатами щец похлевать. Ложки-ти наготовили? Как бы с чужой ествы брюхо не порвало! Грек-то, он хитер, лисовин: его лишь на порог пусти.»

Поведав о разговоре Алексея Михайловича с духовником Стефанием Вонифатьевичем, писатель созвучно поучениям Аввакума, согласно истинной веры православной от апостола Андрея и

древлесвятых русских отец слезно молит царя: «...Полно, полно, свет-государь, опомнись, охолонись! (...) Миленький православный царь! Да коли насрал Господь Махмута окаянного на Цареград (турков на греков— А.Б.), на престол осиянной веры, так, знать, Он особенно возлюбил оплот православия, чтобы за долгую досаду, слезы и горести после возблагодарить? А ты возжелал, миленькой, отдать Русь великую за греков? По чьему измышлению, наущению исторглось из груди твоей самодовольное чувство, иссушающее благодать? И неуж кроткий Стефаний, этот источник слез, помазавши малаксою твой лоб, сам обавно, не мешкая, уместился в сердце твоём, чтобы исподволь, тайком развращать его ко грядущей пагубе...».

Алексей Михайлович спохватывается — почудилось: «Сергий Радонежский смотрел на него с укоризною (...); Александр Невский, опершись на обоюдоострый меч и возведши очи горе, плакал.» И, терзаемый сомнениями, невольно государь воззвал к Госпоже Небесной: «Это я ли хочу отдать Русь? Но без Руси какой же я государь на престоле Константина? Но откуда, вроде бы не из моего горла, вырвалось полоумное признание. Но отчего тогда жжет гортань и вроде бы огонь опаляющий подымается из самого чрева и точит язык? Что за напрасный зарок я дал? Царица Небесная, Дева Пречистая, подскажи рабчишке моему, изнемогающему в гресех, не отлучай...» И тут голос был свыше: «Нет Руси без Господа, и нет Господа без Руси! (Выделено мною. — А.Б. »

Но решил Тишайший: либо в стремя ногой, либо в пень головой, либо князь, либо мордой в грязь. И увы, увы, не внял укоризнам и слезам созидателей Святой Руси, очарованный восточными обавниками, искушенный вселенским мессианство. Диак Тимофей Симановский повествует: «По указу царя церковных раскольников, которые по трикратному вопросу святой соборной и апостольской церкви по догматам ея покорения не принесут, а от расколу не отстанут и хулу станут возлагать — таких по трикратному вопросу велено сжигать в срубе.»

РУССКАЯ БОГОНОСНОСТЬ

Три заглавные темы в трилогии «Раскол», что ветви духовного русского древа: богоносность — суть русская святость и евангельский социализм — неприязнь к тленным сокровищам земным, кои, тем не менее, должны по-божески справедливо, по труду во благо ближнего делиться меж людьми, будь ты господин либо его

холопишко; богоискательство — слияние неба и матери-сырой земли; народная испоконная самобытность, противостоящая западничеству, что изъедает совестливый нрав русича.

В «Откровении святого Иоанна Богослова речено: «Поелику ты тепл, а не горяч и не студен, извергну тя из уст Моих». Владимир Личутин — писатель горячий в духе, нраве и слове; смолоду приважен правду-матку резать в глаза, даже и вельможным, ибо «Не сотвори себе кумира! Не возжигай масла в кумирнях и не кури нарда и фимиама кукам, что зовутся человецы, бо каждый возжелает отобрать у тебя Бога...» Потому и судьба, житейская и писательская, не по воловьему труду и великому писательскому дару сложилась некорыстная: правду-матку дуй — мышью корку жуй, ибо без правды не житье, а вытье. Коль писатель не теплокровный, то и герои его творчески мощные, духовно страстные, неистовые, готовые пострадать за Христа хошь в горях, хошь в петле намыленной, хошь на лобной чурке, где вора́м бедовые головы секут. «Аще яра зима, но сладок рай, аще болезненно терпение, да блаженно восприятие. (...) Не убоимся убивающих тело, души же не могущих убити...» — на муки Христа ради благославляет батько Аввакум духовную дочь Евдокию Морозову. Вот истинный дух, предтеча святости и пророчества, где слезы — «пот нашей души, что источается через зеницы»...

Как говаривали в деревне: сшиблись с праведной пути, и не знам, куды идти; церковь близко, да сбродить склизко, а кабак далеко, да идтить легко. Живущим без поста и креста, ни в рай, ни в муку, на скору руку, непостижим смиренный дух святого Елезара Анзерского, с ликованием благодарящего Бога за дарованное счастье: «До смерти мне надобно помнить, какова милость Божия надо мною грешным была в пустыне, и что мы кушали вместо хлеба сие брашно: траву папорт и кислицу, ужевик и дягиль, дубовые желуди и с древес сосновую кору отыскали и сушили и, с рыбою смешав, вместе толкли; то нам брашно было, а гладом не уморил нас Бог. И како терпел от начальника с первых дней моих, два года по дважды на всякий день был бит в два времени. Но и в Светлое Воскресение Христово дважды был бит. И того сочтено у меня в два года по два времени на всякий день боев тысяча четыреста и тридесять.(...) Пастырь мой плоть мою сокрушал, а душу мою спасал.» Что ж, батожье — древо Божие, терпеть можно, ибо бьют не ради мучения, а ради спасения, что не пером писано, топором вырублено в «Домострое», наставляющем родителя: «Не ослабляй, бия младенца, аще бо лозой биеша его — не умрёт, но здравее будет, ты бо, бия

его по телу, душу его избавляешь от смерти; дочь же имаш — положи на ню грозу свою и соблюдение ю от телесных, да не свою волю приемши, в неразумении прокудит девство своё.»

«Велик русский Бог», — грозили чужеземью пахотный крестьянин, лихой казак и постный монах, и в простодушьи полагали, что Иисус Христос, неприкаянно и необласканно скитаясь по восточным да западным странам, забрел в Землю Русскую, и умилился Духом, видя, что русаки возлюбили Спаса больше всего земного, а умилившись, обрета желанный приют, «обрусел» да в Святой Руси навечно и поселился. Может, книжные церковники углядят в сём ересь — мол, для Бога нет ни элина, ни иудея, — но святость в трилогии «Раскол», воспаряя по небесной лестнице, вдруг возглашает: «Нет Руси без Бога, но нет и Бога без Руси. Кому Россия не мать, тому и Бог не Отец».

С любовью, как родного отца, воспел Владимир Личутин сибирского изгнанника, пустоозерского сидельца, великомученика Аввакума, хотя и вопреки двухвековому общепринятому мнению писателем его не считает: «Я не притесняю и не придавливаю Аввакума. (...) Сила Аввакума не в том, второстепенном, к которому хотя и сместить его «внешние люди», а в другом. Ведь когда исповедовали Аввакума и когда по его призыву стали сжигать себя тысячи людей, они же не думали, что это литература. Это чисто интеллигентский вывих ума — признание аввакумовских писем за литературу. Он привнёс в письменный оборот русское простонародное слово, то слово, которое было в былинах, в сказах, сказках не стесняясь. (...) Но тогда уже можно утверждать, что все крестьяне были литераторами. Тогда существовали гигантские своды былин, которые по образной силе намного мощнее этих аввакумовских крохотных записей. 200 томов русских былин и сказок. (...) Аввакум силу духа национального явил нам в 20 лет сидения в земляной яме. Житийный его подвиг, пример для подражания — в землянке двадцать лет».

Владимир Личутин не церковный иконописец, а народный живописец и пишет святость не житийную, но живую. Иные святые, что разбойник Кудеяр, жили поначалу, как слепые шени, день во грехах, ночь во слезах. Писатель запечатлел святость разноликую. «Кто крестом спасается, кто любовью, кто постом, а кто молитвою...» — поучает Евдокия Урусова, нежная, хрупкая княгинюшка, души не чающая в родимых детушках, но, отвергшись мира, столь желанного, любимого, вкупе с сестрой Феодосьей Морозовой стойко принявшая терновый мученический венец за исконную русскую веру.

Если мезенский юрод Феодор, протопоп Аввакум да боярыня Морозова — в святости неистовые, бранливо обличительные, то старица Меланья, духовница Морозовой, иную святость обрела, жалостливым словом указуя отвилку с широкой дороги в преисподнюю на тернистую тропу к узким спасительным вратам. «Исповедница, судьбою отмеченная: сама, как конопушка, воробей подзастрешный, а вся от головы до пят, будто единое Божье слово...» Верно, иной раз святость в кнуте, изгоняющем беса из христианина, а иной раз далеко на кнуте не уедешь — человек жалью живёт.

Владимир Личутин тонкий природописатель. Вот пустоозерская болотина накануне огненных страданий узников: «На третью неделю по Пасхе на святых жен-мироносиц снега зажглись; пулонцы прилетели из тундры в острожек, приняв приобтаившие дерновые крыши засыпух за обнажившийся череп земли; они веселой стайкой упали в угрюмое место с приголубленных небес, словно бы обнадеживающую весть принесли от сидящих в Горнем Иерусалиме»

А вот сами небеса благославляют боярыню Морозову, хошь и в оковах, но безусловно идущую встречу возжеланным мукам ради неиспрокаженной агарянами русской веры: «Господь растелил ей под ноги цветной небесный ковер, но тут же вслед за ней скатал в трубу и темно-синей тенью убрал в задворки. (...) Солнце странно вытянулось, как перезревшая дыня, из его сердцевины вспыхнули четыре огняных столба и встали в небе наподобие креста. То Христос провожал страдницу в крайний путь, посылая свое благословение и сулил Руси грядущего ужаса и бед.» И русская природа величаво скорбит и тихо радуется — к Царю Небесному восходит праведница-мученица, изжившая из души «ветхого человека,» некогда так любившая мать-сыру землю: «А на воле-то, памятуя о грядущей затяжной осени, стояла та кроткая пора яблочного Спаса, когда радеющая человечья душа, примериваясь воспарить, невольно взглядывает в приголубленные осиянные глубины, пока лишь мысленно порывая с утомленной плотью. Земля-имениница, уставшая от многих долгожданных родин, была в эту пору величаво тиха и покойна, омываемая легким ветерком-шептуном, напитанным антоновой и медом; то Яблочный Спас, завлекая запахами, подступил к порогу и распоясал свою щедрую котомицу.»

* * *

В трилогии противостоят несмиримо бедные, коим «клен да береза, чем не дрова, хлеб да вода чем не еда», и богатые, что

уж, бывало, во гроб смотрят, а добро копят, а посему старoverы в трилогии обличают не токмо «никониан поганых», испроказивших исконно русскую веру, но и утеснителей простолодья, самодуrow, любодеев, сребролюбцев, мздоимцев, казнокрадов из верховного сословия. Не будучи основным, в расколе выразилось и социально-классовое противостояние: крестьяне-старoverы убегали от крепостного барского гнѣта, от рабства, от безземелья. Размышляя о сути русского религиозного размежевания, литератор XIX века Я. Абрамов писал в «Отечественных записках»: «... Раскол явился протестом старины против новин, причем под стариной отнюдь не должно разуместь одну заскорузлость и рутину; рядом с двуперстным знамением и хождением посолонь, рядом с бородою и русским кафтаном протестанты (старoverы, протестующие против церковных нововведений царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, — А. Б.) отстаивали и старинное крестьянское русское право свободного передвижения и личной свободы, и исконное право земледельца на обрабатываемую им землю, и старинное русское самоуправление...»

Боярыня Федосья — нрава сурового, на расправу и брань скорого, но смолоду житие вела праведное — безблудное, не горделивое, в молитве, постыбе, щедрое на милость (столь нищих приютила в тереме), и уж молилась денно и ношно: «грех сребролюбия отжени от меня...», но земные сокровища, — а немногие на Руси слыли богаче Морозовых, — опутав по ногам и рукам златою цепью, утягивали душеньку с небес к суетному миру. Речено же евангелистом Лукой: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». О том обличительно и толкуют ей возлюбленные братья во Христе батько Аввакум да юрод Феодор Мезенец, живущий, яко птицы небесныя, бо «не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец (...) Небесный питает их.» Уж и готова молиться на Феодора Мезенца, обогретого в тереме, а тот, все одно, выговаривает боярыне: «Ты не нищих любишь, а себя в нищих. Ты себе место вымаливаешь у Господних врат, притворщица...» Милость — лишь последняя рубаха, — толкуют братья-сострадалыцы по Писанию и напоминают сестре: «Исус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.» Без малой скорбишки попускается боярыня Морозова нажитой гоби-

ной; да и что там именование, коль ради Христа и рожоным чадом жертвует, отринув в муках материнскую любовь, перекусив пуповину связующую с миром.

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО

Почему я читал и пристально перечитывал «Раскол», а ранее и поморские хроники, и романы «Скитальцы», «Любостай», «Миледи Ротман», а теперь вот и документальную повесть «Девяносто третий год. Вид из деревенского окна», и роман «Беглец из рая»? Нет, не потому лишь, что добрым зерном щедро засеяна речь; в романах явлена сложнейшая, глубинная народная философия с мистическим психологизмом. Душа — маета и поле брани божественного помысла и бесовского соблазна, отчего и герои сплошь и рядом юродивые — и от Бога, убогие, и от князя мира сего, бесноватые. Если на сонного либо шалого обывателя князь сумрака рукой махнул, то юрода Феодора Мезенца, протоппа Аввакума, боярыню Морозов сонм бесов пасут денно и нощно, ратятся с ними даже и во сне.

Богоискательство в трилогии «Раскол» — не дворянское и разночинное, страдающее прелестью книжного ума, гениально воплощенное в романах Толстого и Достоевского, а богоискательство простонародное, причудливо сплетенное с изустными мифами и легендами, богоискательство у иных монашествующих в миру старцев доходящее до простодушных ересей. В этом выразилось крестьянское живое восприятие Бога, что в нищем рубище бродит по Руси, может и подсобить мужику, ежли телега в грязи по ступицы увязнет... Феодор Мезенец поучает: «Иудеи-то Бога никогда не признают в лицо, хоть и за стол с има сядет трапезовать. Они себя лишь чтят. А нам, русичам, Христос — свой брат. Ты его приветь, не отворотись, Он тут как тут с подмогой...»

Распопа Лазарь, веселый и хмельной даже и в Пустоозерском узилище, обороняется от хулы древлеотеческим поучением: «Не реку непити: не буди то! Но реку не упиватися в пьянство злое. Я дара Божия (вина) не похую, но похуюя тех, которые пьют без воздержания. Сказано: пейте мало вина веселия ради, а не пьянства ради, ибо пьяницы царства Божия не наследят.»

Бражник добрый, охочий до винца, увы, еретически почитающий его «кровью Христовой», веселый, потешный, но в Христовой вере Лазарь неколебим — руку отрубили, чтоб не писал Никону и царю, обличительных подметных писемок. Писатель, уже привычно, по свойски, молит Алексея Михайловича: «Царь-

государь, смилуйся, войди в ум! Слышь, как из-под земли на всю пустоозерскую тундру ревет распопа Лазарь, верный Христов воин? Так не по себе вопит, а по бабе своей. Помогите чадам, хоть три грошика в день кинь на пропитание, зачтется в будущем свете». Распопа Лазарь, томящийся за старую веру в пустоозерской тюрьме, и там исподтишка бражничая, понимая Бога, как живого, родного, с простодушной ересью похваляется: «Ишь ли, прибрел ко мне Иисус ночью, давай-де кутить. Приняли ковш браги, видим, хорошо пошла, да и за второй принялись. Потом давай брататься со Сладеньким. Скушно, говорит, на небеси-то... А вчерась... прими, говорит, милостыньку. И подал красную рубаху, по моим плечам кроена небесными мастерицами.»

Хошь и не зюзя подзаборная, а изрядный выпивоха, балагур и баешник, но, как лишь в русском простолюдые случается, раб Божий Лазарь — христанин высокого и неколебимого древле-православного духа, за исконную, истинную веру принявший великие муки и взошедший на святой огонь.

Впрочем, иной раз вспыхивали ереси и не столь простодушные, если даже блаженный во Христе юрод Феодор Мезенец впадает в иконоборчество, неистово орет на церковных папертях: «Все иконы надобе сжечь! Вы не верите в Бога живого, а поклоняетесь мертвому! (...) Мертвый верит мертвому. Всякому человеку можно Бога умными очами видеть. Ежли Бога не видеть, то за коим такой Бог? Сладчайший прост, как все мы, он с ручками и ножками, Он бродит по земле и видим истинным, кто не соступил в грех» И тут проповедуется Христос живой, избранным видимый, но из проповеди рождается иконоборчество, которое прижилось у духоворцев, возгласивших: поклоняйся Христу не мазаному, не писаному, а Христу животворящему.

В самом староверчестве разгорается духовная брань и о Троице Единосущной. Монах Феоктист обличает своего родного брата юрода Феодора Мезенца за то, что тот «Бога четверил», царя — Помазанника Божия «ежедень словесно стаптывал в грязь», народ булгачил... И Никон, обличаемый Аввакумом за испрокаженную веру, винит того в ереси: «Еретник, разрушитель церковного престола...» Протопоп Аввакум и поп Лазарь начали Троицу на трех престолах исповедати и трисущну глаголют, а Христа четвертого Бога глаголют, на четвертом престоле сядяща. (...) Бога четверит (протопоп Аввакум — А.Б.), рассаживает по стульцам в небесной избе, а Святую Троицу, не убоясь Его гнева, называет жидовской единицей. (...) Протопоп Аввакум восстание Христово из гроба не называет воскресением, но вос-

станием токмо... (...) Есть еретики от гордого ума, а этот от дремучего невежества».

Даже и союзники пустоозерские, коим завтра купно гореть в огне за Христа Бога, злобно спорят о Божественной Сущности Христа. Аввакум при пособничестве распопы Лазаря костерит дьякона Федора: «Федька Косой наемни продал Христа за полушку, тела его лишил и рождения, и человечьих привычек. Мелет, де Христос через ухо зачат, а в бок вон вышел». Диакон Федор тоже за словом в карман не лезет, бранит Лазаря: «Голь кабацкая. В тюрьме умудрился Бога пропить. Да и то, насмелился окаянный Господа нашего четверить, на куски рубить». И снова поминаюся святые речения Иоанна Богослова: «Поелику ты тепл, а не горяч и не студен, извергну тя из уст Моих», а посему и простит Всемиловитый Боже споры пустоозерских великомучеников, взирая на их огненную любовь к Спасу Вседержителю.

РУССКАЯ САМОБИТНОСТЬ И ЗАПАДНИЧЕСТВО

Вторая сквозная тема: противостояние русской народно-обрядовой и церковной исконности и самобытности кощееву духу западничества, с его лютой нелюбью русского мира, с разноликой ересью и демонизмом.

Иван Грозный карательной, но праведной царской дланью, словно мужичьей ручишей, безжалостно выкорчевывал западничество, казня еретиков (тайных папистов, униатов и жидовствующих) да искушенных еретиками бунташников, бия батогами и верных холопий и рабчишек, чем и, смиряя гордецов да нахвальщиков, спасал душу православную от прелести. Вспомним, низкие благодарственные поклоны святого Елеазара Анзерского монастырскому старцу, что, бия его тело, душу спасал. Не сомустился царь Иван и на гибельное для Руси искушение воцарить в мире православном: «Что же до Восточной империи, то Господня есть земля; кому захочет Бог, тому и отдаст ее. С меня довольно и моего государства, других и больших во всем свете не желаю». А вот государь Алексей Михайлович, тишайший богомолец, напару с отцем отцов Никонем, ульщенные восточными патриархами, широко отворили дверь Западу, заради коего огнём выжигали из русских исконную православную русскость. «Еретики-чужеземцы и клирики-латиняне, одевшись в православное платье, окружили престол, а свет-царь не захотел увидеть всей беды, приступившей к родному порогу (...) Но все еще оставалась надежда, что одумается батюшко под при-

смотром чудотворцев Зосимы и Савватия, протрет опойные вежды, стряхнет с себя дурь и враждебные невидимые пути; но (...) круто государь взялся за искренних богомольщиков... (...) Много кровищи пролил Грозный царь, но и тот до чернососного народу так круто не домогался, блюл кормильца, не отбирал воли, не приступал к праотеческой вере и чтил стародавний обычай. На православную жалливую Русь со всех закутов и задворков европейских полезли они, как пчелы на взятку, и никакою обороною их не остановить: деги и влахи, греки и немцы: кто с обозом за церковной милостию, кто в иерархи с дальним прицелом, чтобы осесть на богатой чужбине, остаться на государево имя. (...) Устремились на северную Русь те искатели счастья, кто совесть почитал за большой изъян. Иные, удачно приткнувшись к Московскому Двору и улестив бояр, скоро сбивали себе состояние и отбывали назад на родину; иные же — лазутчики, шпыни, прелagateи и смутьяны, кто новый завод и бунт всегда рад завести — соумно выглядывали и московские секреты...»

Но горе горькое, что у природных русаках из боярства и дворянства да хлебнувших книжной грамоты челядишек, напяливших на свою медвежью кость западные камзолы, мочей ударила в кудлатые головы отчаянная русофобия. «Двор первым в России с дальним умыслом примеривал всевозможные новины на себе, чтобы, привыкнув, после распустить их до самых дальних окраин, как перемены, пусть и странные поначалу, но крайне необходимые, без коих вроде бы и жизни не стать. (...) И эта привычка была не в старорусском обычае. (...) Дворец неволью отодвинулся от всей Руси...»

Верно молвлено: овес от овса, пес ото пса... «Сын (Алексея Михайловича — А.Б.) Федор был молод и умен, и, воспитанный Симеоном Полоцким, уже не скорбел душою по старому, не гордился прошлым великой земли. Федор Алексеевич сделал новый шаг к Западу, а за его спиной печальная Русь стала готовить кресты, собираться к страстям и выискивать меж себя великомучеников, уже слыша за спиною поступь антихриста. (...) Отец затеял для России поход сокрушения, а сын, что нынче еще деревянную расписную пушчонку волочит по хоромам, невдолге и вовсе собьет державу с пути... (...) Самые страшные гари начались в царствование Петра...»

Как приотворил царь Алексей Михайлович ворота Западу, как их широко распахнул царь Петр Алексеевич, полетели «заморские гуси» на Святую Русь, напялили для обольщения белую ремёжу на бесову рожу и обокрали, вроде бы и полонили матушку

Москву, белокаменную, златоглавую, хлебосольную да словоохотливую. Бились, колотились... а русский дух из древней столицы не вышибли (то не мороз выбить из овчинного тулупа) и в угоду Западу на мужичьих костях посередь болота возвели северно-серый, хладнодушный, чиновный Петербург. А ведь и царь Алексей Михайлович, и патриарх Никон — сермяжный мужик, русофил из русофилов — любили Русь самобытную сыновьей жертвенной любовью, трудились и ратились не щадя живота и великого блага желали земле отеческой: царству — третьего Рима, владычества на Востоке, а церкви — вселенского величия. И ведь Петр Великий, в народе прозванный шишом антихристовым, блага желал России, правда, не того, о коем народ мечтал, а что в европах увидал, и вышел из Петра Первого великий русский богоборец, при нем завершилось исконное равенство русских людей, поделенных на бар и бесправных холопьев...

Воистину, благими помыслами выстлана дорога в ад, и, горделиво зажив не народным, а своим искушенным умом, собинные други посеяли ветер, пожали кровавую бурю; буря та в русских веках то утихала — особенно когда приступал час оборонять родную землю от внешнего врага, — то вновь полыхала; но если три века русская (суть, крестьянская) самобытность, перемальвая новины на еще крепких мужичьих жерновах, не гнула выю и душу перед Западом, то ныне, на мгlistом, ветреном и студеном восходе двадцать первого века, когда чужебесие царствует на русском престоле, выживет ли русская самобытность, православная истинность, Бог весть. И если теперешнее поколение русских выстоит перед чужеродным насаждаемым устоям и жизни в этом для народа, обережет в душе любовь к Богу и ближнему, то свершится величайший подвиг в истории народа. На чудо лишь уповаем, все в руке Божией, а чудо вымолят лишь праведники, кои на Руси не вывелись. Но хотя бы очнуться от западнического чада и угара мы можем и благодаря произведениям, подобным «Расколу» Владимира Личутина.

САТАНАИЛЫ

В трилогии «Раскол» пристально и ярко выписано яростное противоборство божественного и демонического в русском мире: божья дудка Феодор-юрод и Захарка-урод, чертова дудка, бисова трубка, пауком уловивший в адовы тенета немало православных душ из князей и бояр, среди коих и души боярина Хитрова, боярина Морозова, сына христовой великомучени-

цы Феодосьи, — в отрочестве ангельски светлого, в мужах доброго, но слабого душою. В преданиях народных суеверов дворцовые, боярские да княжеские шуты возведены едва ли не в пророки, — вспомним шута Балакирева, но пророчества их не от Бога, но от мудрости мира сего и от князя сумрака. Вот и Захарка — карла, аршин с шапкой, шут государев и боярев, не таясь и не чинясь, похваляется: «Мне сатана отец! Я многих к нему спровадил в друзьяки...» Чертова дудка, верша сатанинский обряд, призывает князя тьмы на подсобу: «Он вдруг стянул через голову крест-мошевик, плюнул на Христа и стал призывать черное воинство блудными темными словцами: «Алегремос! Встарот! Бегемот! Аксафат, Сабабат, Тенемос!..» Там, в кресте-мошевице, и таился медленный яд, коим шут и уморил Ивана Глебовича, сына боярыни Морозовой. Верно рекли любомудры: от черта крестом, от свиньи пестом, а от лихого человека ничем.

Словно болотные шиши и кикиморы, выныривали из духовного ратоборства и эдакие лиходеи, что, вроде, и «спасались» возле истинного древлеотеческого православия, но беса теша, впадали в такое богохульное лицедейство, что и содом и гомора содрогнутся. «Блажен, кто верует в дьявола!.. Ибо всякая гада страшится его красоты и силы и бежит прочь!» — созвучно гибельным учениям нынешних гуру, учит иудопоклонник «отец» Александр Голубовский, и, уподобляясь Христу, укутанный цепями, восходит на крест. Вторит лицедействующему еретику и его экономом Ефимко: «Иуду клянут, Иудой гнушаются, Иудой пугают... Да он посильнее нас будет в сто иль в тыщу раз. Он на Бога руку поднял и не устранился. Рядом встал. Они вместе и на суд явятся: Христос и брат его Иуда.»

В «староверческом скиту», подобии «дома терпимости», настоятель отец» Александр проповедует содомский грех: «Без греха нет покаяния, без покаяния нет спасения. (...) В раю много будет грешников, только не будет ни одного еретика. Вот ты, братец, всяко нас клянешь за девок, что возле пасутся. Знай же, что ныне брака нет, и все, кто в никонианских храмах повенчаны, — прелюбодеи истинные, еретики. (...) Но падший от немощи естества плачется сердцем, стонет ногами и всяко просит Бога простить его, заблудшую овцу, и своими стенаниями он выращивает в небо широколистный дуб до самого райского престола». Из подобных сладких чаровных кореньев взошла разрыв-травой и зацвела в «староверчестве» ересь федосеевщины: лучше семерых родить, чем замуж хо-

дить. «Братцы молитвенные, грешите, как доведется, — поучает «отец» Александр, обласканный послушницами. — Тайно содеянное — тайно и судится. Ибо тайна брака истребится и ложе свободно...» Читая еретические речи, невольно помянешь обесившихся с жиру, похотливых дам из высшего света, обезбоженных разночинок, исповедующих «свободную любовь»; а мне вспоминается, как добродушная, но беспутая дева из художной богемы толковала с молодым священником: «Христос заповедовал любить ближних, подсоблять им, а значит, я по Христовым заповедям живу, коль страдающих мужиков улаживаю, возрождаю к жизни и творчеству ...»

Скитский эконом Ефимко, согласно беседа с настоятелем, «отцом» Александром Голубовским, договаривается до того, что можно высмотреть лишь в нынешних фильмах, когда из «дьявольского сундука» мясо человечье валится грудями, кровь человечья плещет багровой рекой, затопляя жилища, души и разум человеков: «Иудеи закалывали младенцев и помазывали очи, и уста, и прочие члены тою кровию. Зато они видки, и говорки, и плодовицы, яко саранча. Эвон где разбежались по свету». Далее извечная в Царстве Русском пришедшая и доморощенная русофобия: «Отчего худо на Руси? Отчего гадко и скудно? Веры нету, и истины не ведают. Им в глаза хоть шепки вставь, а все будто котята слепые. Таков уж наш народ дремучий. Как нынче из берлоги. Правда, Батько?» « — Верно, сынок. Мочи нету, упругой силы, чтоб раскручивать. Полоротые, пасть отворят, ждут, когда ворона залетит. Такая уж порода, лишние на свете люди. Вон фрыгу, немчина, ежели взять. Из дерьма лепешка, так выкрутят. В руках все горит. Из дырки калач гнутый, из калышки баран.»

Если карла Захарку обличает Феодор — юрод, то иудопоклонников Ефимку и Голубовского — инок Епифаний и патриарх Никон. Голубовский по молодым летам целил аж на государеву стулку, в чужеземье собирая рать против Царства Русского, а позже примкнул к Стеньке Разину, бунтарски возглашая: «А может я жить не хочу в грязи и неволе? Может, я хочу давить боярскую платяную вошь, что села на плечи». Две мощные личности сталкиваются духом: заблудший патриарх Никон и похожий на булгаковского Мастера, просвещенный сатанаил Александр Голубовский, которого Никон однажды спас от царевой дыбы. Посылал отец отцов на муку страдников Христовых, а нечестивца пожалел. Не случайно «отец» Александр многожды приходит к Никону то как демон-искуситель, с ересью, бун-

том, философией цинизма, то как ангел-обличитель: «Много пакости ты натворил, патриарх, и гореть тебе в аду синим пламенем. А я кочережкой буду помешивать в костре... Русь-то расклячил из гордыни лишь да по забаве пустого царишки... И такой великий раздрай пойдет по земле (...) И въедет в престольную антихрист на белом коне. (...) Открылось мне, что хотят латинники и агаряне нас погубити и будут стремиться к тому до скончания века. Ежели они поедают солнце каждый день, упрятывают его в подвалы, то что им стоит пожрать Русь? Уж коль довелось помереть, так хоть в своей земле..» В откровении «отца» Александра выразилась его противоречивая душа, где тоже в борении день с ночью, но в отличии от Кудеяра, разбойника лютого, Божий стыд не побуждает к раскаянию; продана душа князю тьмы, и купчая кровью скреплена.

* * *

Но еретики и лицедеи в неоглядном Божием стаде по тем средневековым летам были, что волки в овечьих шкурах; вся же Русь, памятуя о грядущей смерти и загробной жизни, металась в поисках спасения, денно и ночью молилась до исступления и трудилась до изнурения. А посему, читая трилогию Владимира Личутина «Раскол» невольно восклицаешь: Господи милостивый, столь мы, нынешние русаки, черви дождевые да навозные, — мелки, ничтожны, дряблoduшны и мертвoduшны, прелюбодейны, чревоугодны, лицемерны и фарисейны перед своими предками, готовыми в жажде спасения души своей пожертвовать всем и даже жизнью своею.

О СОВРЕМЕННОСТИ ПРОЗЫ ВЛАДИМИРА ЛИЧУТИНА

Отдельные литераторы пытаются навязать читающему люду суждение о том, что писатель Владимир Личутин будто бы несовременен и незлободневен, увяз в русском историзме, этнографизме, фольклоризме и фразеологическом диалектизме. На деле же трудно вообразить иного нынешнего писателя, который был бы так современен. В романах и очерках Личутина предельно и напряженно современен, пристально и вдумчиво следя за событиями российской жизни. Взять, хотя бы, очерковое повествование «Девяносто третий год. Вид из деревенского окна», куда уж современнее и злободневнее... Помню, в кои-то веки неожиданным-негаданным ветром заметнуло меня в столицу, и чтобы не возвращаться в Сибирь с пустыми руками, выпросил у Влади-

мира Личутина повесть, прямо с письменного стола, словно хлеба, вынутые из чела русской печи, еще пышущие ржаным жаром. Повесть о судьбе русского народа, до нитки ограбленного, денно и ночью на весь белый свет унижаемого и оскорбляемого в своем национальном чувстве, но не покоренного; но это и не быки в ярме, тупо и равнодушно пашущие, кроме похлебки ни о чем не помышляющие, а лишь до поры, до времени смиренные и, чудится, готовые со дня на день перековать орала на мечи. Лишь чудится, и надо перекреститься... Русское крестьянство, запечатленное в повествовании, обмершее в мучительном раздумье, с молитвенной надеждой и на спасительное божественное чудо, и на Сталина, который одним махом наведет порядок, сурово приструнив ростовщиков и лихоимцев. А пока маловольные топят печальное раздумье в смертоносной паленой водке, которые покрепче духом,— в воловьем труде, третьи, редкие, спасают душу молитвой, молят о чуде, что спасет землю русскую.

Рисковую и сложнейшую творческую задачу поставил писатель — запрячь в одну телегу трепетную лань и ломовую лошадь, сплести повествования художественное и публицистическое, доходящее до репортажного журнализма, отчето и читал я повествование настороженно, с опаской, томимый сомнением и довременным предубеждением. Но дочитал и подивился: и ведь осилил писатель и вроде бы непосильную ношу, вознес грубый камень в гору, вытесал, отшлифовал.

Злободневный писатель Владимир Личутин, осмысляя и запечатлевая великую злобу дня и малую радость дня, искренне, до сердечной боли, тоски и отчаянья переживает за русское простонародье, — крестьянское, ремесленное, промысловое, не теряя последней надежды на братьев и сестер, надежды промыслительной, пророчески запечатленной русскими святыми старцами. Опять же в отличии от публицистов и писателей, страдающих журнализмом, Владимир Личутин при осмыслении нынешнего времени сопоставляет и туго переплетает день сегодняшний с временами славянского изначалья и русского православного средневековья, с временами российского имперского величия, царского и советского, оценивая события не с кочки зрения мудрецов мира сего, но при ясном и ярком евангелийском, святоотеческом свете, возможно и подсознательно следуя завету Николая Гоголя: «Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени... А если хочешь быть еще понятнее всем, то, набравшись духа библейского, опустишь с ним, как со све-

точем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего времени и углуби в тоже время в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш».

Когда речь заходит о современности либо несовременности художественного произведения и творчества писателя в целом, к сожалению даже просвещенные читатели подсознательно путают художественную литературу с журналистикой. И ждут, требуют от писателя современности: дескать, сколь можно поминать, утираючи слезы, старорусскую жизнь, воспойте либо уж оплачьте нынешнюю. И к великой скорби некоторые писатели рысят на поводу у эдакого современного читателя, и, увы, впадают в откровенную газетчину, с неизбежными художественными, идейными потерями — проторями, как сказал бы Владимир Личутин. Но разве не современны и ныне «Слово о полку Игореве» и «Слово о Законе и благодати» митрополита Иллариона?! Не современен ли сказ Гоголя «Ночь перед Рождеством»? Не современны ли повести и романы Лескова, Достоевского, Шмелева?.. Не современен ли даже и рассказ Чехова про Ваньку Жукова «На деревню дедушке», ибо сочинитель порой и сам не прозревает, как его слово отзовется в народе и во времени. Писатель — разумеется, одаренный художественным даром — не впавший в «современность» — сиречь журнализм, народно и талантливо написавший о том, что волновало человека испокон веков и будет волновать до скончания веков, пока душа человеческая не омертвеет, писатель такой всегда будет современен, независимо от того, на каком мирском материале он художественно воплотил духовно-мистические, душевные чувства человека в их борьбе с земными грешными страстями.

Увы, увы, растерялись критики перед трилогией «Раскол», невнятно толкуя о запредельно усложненном содержании романов, о непосильном широкому читателю, закодированном языке. Нет, любезные критики, сказать, что личутинская проза не востребована читателем, лжу сказать, грех на душу взять, в чем заверяю вас, как читатель, и даже ленивый. О востребованности-невостребованности народной художественной прозы Владимир Личутин и сам толковал в беседе про нынешнюю русскую литературу: «Я полагаю, истинно русский писатель, если он от народа, а не от лукавого, пишет, не думая о сиюминутной востребованности его слова, а так как заповедано Богом, если слишком высоко сказать, а если сказать земнее, как заповедано судьбой. И на подобную литературу приходят отклики из самых неведомых и неожиданных читательских глубин, где может быть и восприятие

исконно народно образного языка и невосприятие его. После выпуска в свет в Ленинграде моего большого романа «Скитальцы» о староверцах девятнадцатого века, двумя большими тиражами Родной мой брат мне говорит: «Твой роман разыгрывали в лотерею в нашем отделе академического института кораблестроения пустив шапку по кругу: кому достанется». Вот как глубоко желание русского человека, из какого бы сословия он ни происходил, вернуться к своим национальным истокам».

Трилогия Владимира Личутина «Раскол» предельно современна, как всегда ко времени роман Достоевского «Бесы»; читаешь в «Расколе» о средневековой Руси, а видишь ныншнюю Россию. Вот и речи сатанила Голубовского, чем не речи нынешних либеральных политиков, поощряющих грех в народе, вбивающих клин меж поколениями: «Хочешь владеть народом, потворствуй ему, не тронь молодых, дерзаящих старикам, терпи, если по возвращении найдешь их отпадение. Пусть грызут древних, молодой дракон всегда проглотит старого. Чем чаще отпустишь им прегрешение, тем сильнее они привяжутся к тебе и не пойдут в церкву; что им там делать, где дают одну жену, да и ту не смей кинуть. Отверзай вхождение и исхождение на ложе мужское женщинам и девкам, и тебя почтут мужи, и ты вознесешься».

Трилогия «Раскол» ныне особо современна для русских, поскольку роман — суть хроника, осмысленное художественное воплощение первого всенародного жестокого противоборства русской национальной самобытности (истинной веры православной от апостолов и святых отцов) и западничества, саранчой ползущего на Русь, выедающего сердце русское вместо со Христом.

О СЛОВЕ

В языке личутинских произведения, а уж тем паче в трилогии «Раскол» сплелись русские столетия, словесная вязь романов столь мыслеёмка и яркообразна, что с разбегу и не прочесть, а уж тем паче не осмыслить, всякий абзац художественно освоенное, неожиданное и парадоксальное наблюдение за текущей жизнью, неожиданные, и ярко выраженные, противоречивые характеры, до боли, до куража распираемые своей выстраданной философией. В очерке о русском любомудрии и краснбайстве я уже поминал творчество Владимира Личутина и хотелось бы это помянуть привести здесь. ...Проживши четверть века в глухоманном лесостепном забайкальском селе, за триста верст от города

и «чугунки», ударившись в сочинительство, я писал лишь о том, что родно и больно, и, разумеется, тем языком, коим и говорили, да и по сию пору говорят мои деревенские земляки. И писал этак не ради любования природным говором, но ради осмысления русского простолюдья, и особо российского крестьянина — величайшего любомудра, коему книжные мыслители и в подметки не годятся. К сему же крестьяне выражали земные и небесные мысли не мертвецки условным, научным языком, но образным и притчевым, черпая его из крестьянской и природной жизни. Вспомним глаголы вечной жизни: «Уже бо и секира при корени древа лежит: всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает, и в огонь вметаемо»; или: «Его же Лопата в руце Его, и отеребит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, плевелы же сожжет огнем неугасающим».

До «глаголов вечной жизни» и народного вещего слова даже всесветно славленным сельским писателям, словно до небес; славные лишь робко и поклонно коснулись вселенской деревенской языковой стихии, да тем и прославились. Не думаю, что всякий столичный книжник с распростертыми объятиями встречал стеснительно нахрапистую деревенщину с лапотным говорком, — крепкие соперники; и даже я, писатель широко известный в узких застольно-братчинных кругах, хлебнул мурцовки за свой сибирский поговор. Но в моих сочинениях лишь майские цветочки-лепесточки, а у писателя Владимира Личутина — зрелые августовские плоды, кои отведав ошеломленная русскоязычная критика перекосилась, словно мороженой брусницы хватанула: мол, Личутина лишь с древнерусским словарем читать, в старославянский заглядывать, с диалектным сверять, иначе не осилишь. Да ежели Господь осчастливил тебя родиться русским, так русским и живи: можешь не зубрить английский, «баксы» и без языка сочтешь в кармане, ежели там вошь на аркане, а уж свой родной и корневой язык будь добр усвой. Иначе какой ты русский?! — бессловестный яремный вол... Как верный раб простонародного, пословичного и поговорочного слова, скажу без лести, положи руку на душу, не ведаю иного писателя прошлого века, в произведениях которого бы, как у Владимира Личутина, так щедро, полно, плеща через край, так сочно, с музыкой и запахом, так цветисто, так неподражаемо звучало бы русское искусное слово, слившее в себе устное поэтическое (с севернославянским языческим эхом) и письменное (поморско-сказовое и древлеотеческое от пустынек богомольных и скитов староверных). С дивлением и усладой читал романы и очерки Владимира

Личутина, словно любовался таежными, озерными закатами-рассветами и услаждался беседой с любомудром у рыбацкого костра, как с Божиим краснопевцем на церковной паперти, вслушиваясь, вглядываясь, вдумываясь в слово, кое может выпасть из русских уст.

Однажды я уже писал: не может быть неязыковым произведение художественной прозы, как не может быть живописи без живописности. Образное письмо — мудрое, во всякой фразе мыслёмкое. Вот, скажем, немудрящая пословица: «Не отвалится голова, так вырастут волоса». Не для красного словца сказано, а чтобы в одну образную фразу вместить великую мудрость смиренного и безунывного земного жития. А, скажем: «Своя воля страшнее неволи», — тут уж в четырех словах христианский трактат о свободе внешней языческой, идущей бок о бок с порочной вседозволенностью, и свободе внутренней — свободе от пороков, которую, впрочем, обретали лишь святые во Христе старцы, молитвенные постники и отшельники, но православное простолудье о духовной воле хотя бы блажило.

В одной из бесед о языке русской художественной прозы Владимир Личутин говорил: «Я нисколько не жалею деревенского писателя, как пожалели его некоторые критики: дескать, вряд ли нужен теперь такой язык — архивный, исторический, и неведомо проснется ли время, когда он понадобится. Такой язык всегда надобен, потому что русский писатель должен писать красиво, как красиво и цветисто говорит настоящий русский мужик. Вот, скажем, читаешь «Слово о полку Игореве», написанное в XII веке, и гадаешь: а зачем нужно было летописцу-монаху писать таким изящным стилем, с такой образной каруселью, такими широко развернутыми, протяжными образами, когда можно было и просто изложить: в таком-то году князь Игорь пошел воевать землю Половецкую, попал в плен, бежал. Вот и весь сюжет, да и нет его, сюжета. Пророческая сила «Слова...» в отступлениях от сюжета, когда речь идет о кровавой русской междоусобице, а красота «Слова...» в слове. Прошло восемьсот лет, а красота слова неумираема. Сам сюжет повторялся в исторической литературе сотни раз, и попадали в плен миллионы русских, сотни миллионов умерли, сошли в неги, и уже давно напрочь позабыты половцы, с которыми воевали полки князя Игоря, а красота слова в «Слове о полку Игореве» вечна и всегда современна.

Да ведь кроме языка в прозе может больше ничего и не быть, потому что у художника главное — цвет, у писателя — слово. Нет

слова — нет произведения. Язык — нация, народ, слово — душа народа. И когда говорят, надо писать проще, без красот, что давайте искать новый язык, — все это искус дьявола, норовящего, убив слово, убить и русскую душу. Ну, давайте, все упростим, сведем язык к одной матерной фиге, и так это будет легко, без натуги воспринять, но душа-то сразу скукожится, измельчится, не будет в ней православной глубины. Мельчает слово, вместе с ним мельчает и сам народ, а с мелкой душой народ не совершит подвига, не спасет Отечества.»

Нынешние традиционные журнальные издатели, которые жалеючи и благо желающе советовали писателю Личутину, да и мне грешному, блюсти меру языка, тывая простонародным рылом в дворянскую и разночинную литературу: дескать, можно, брат, дать волю народной образной стихии в речи героев, но уж в авторской, будь добр, пиши литературно грамотно. Но какой протокольный мудрец измыслил свод писательского письма, загоняя слово в тесную книжную домовину, отсекая корни, ветви, крону, а порой и сдирая кору с заболонью?! И согласно ли протокольным сводам созданы произведения Гоголя (малороссийские сказы), Лескова (народные повести), Платонова, Шергина, Шмелева, Белова и Астафьева... Попробуй угляди там борозду, межующую речь автора и героя. Впрочем, как благодатны обе православные церкви — и старообрядческая, и правленая патриархом Никоном на греческий лад, — так пусть и в русской литературе братчинно и полюбовно уживаются книжная авторская речь и народная, лишь бы во благо русской душе.

«Как писателю Владимиру Личутину сказочно повезло, он подготовлен был к писательству еще до того, как взялся за перо, — говорил Валентин Распутин. — Он родился в краю, где все дышало вечностью, все составляло на земле и воде суровый труд, строгий и упорядоченный быт, пришедшие из глубока, и все говорило на языке, в котором древность не знала забвения (...) Чудный говор на родине Владимира Личутина — живой, гибкий, звучный, все называющий точно и сочно, каждой мельчинке дающий особое облачение. (...) Личутин прекрасно сознает, сколь драгоценный выдался ему дар и с каким секретом: чем больше пользуешься, выносишь на люди, тем больше прибывает. (...) Писатель — мастер-словостав. Слово у Владимира Личутина, поставленное в определенный ряд и говорящее совокупно, не вовне выпрыгивает, а от веса своего внутрь тянет в немреную глубину.»

ТВОРЕНИЕ РУССКОГО ДУХА

Как явились российскому читающему миру Личутинские своеобразные поморские повести, книжные смот்рители попытались встроить писателя в «деревенский» ряд, по невеликому росту на дальний край; но когда стали чередой выходить романы «Фармазон», «Скитальцы», «Любостай», «Миледи Ротман», «Беглец из рая», историческая трилогия «Раскол», очерковые повествования о русской старине, писатель выпал из «деревенского» ряда, вернее, ушел в такие далекие палестины многовековой природно-языческой и православно-мистической жизни Руси, о коих «деревенщики» робели и помыслить, не то что заглянуть, и заговорил языком, отразившим русские народные речевые столетия.

Русская проза еще в прошлом веке, поделившись на семьи, крепко прижилась в своих усадьбах, и наглухо затворила ворота и калитки, а Владимир Личутин, не терпящий избяной тесноты и духоты, любящий волю вольную, очутился на высокой и голой сопке, у самого поднебесья — и голодно, и холодно, и ветренно, но так далеко и много видно, и так вольно поется.

СОДЕРЖАНИЕ

О ПИСАТЕЛЬСКОМ РЕМЕСЛЕ.....	3
ПИСАТЕЛЬ И НАРОД.....	8
РЕКА РУССКОЙ СУДЬБЫ.....	9
ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ.....	13
ВЕРА, СЛОВО, ГЕРОИ.....	15
НИКОН.....	17
ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.....	21
РУССКАЯ БОГОНОСНОСТЬ.....	23
БОГОИСКАТЕЛЬСТВО.....	28
РУССКАЯ САМОБЫТНОСТЬ И ЗАПАДНИЧЕСТВО.....	30
САТАНАИЛЫ.....	32
О СОВРЕМЕННОСТИ ПРОЗЫ ВЛАДИМИРА ЛИЧУТИНА.....	35
О СЛОВЕ.....	38
ТВОРЕНИЕ РУССКОГО ДУХА.....	42

Анатолий Григорьевич Байборodin

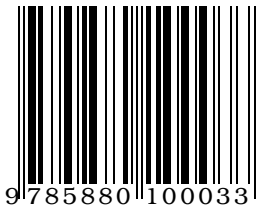
ТВОРЕНИЕ РУССКОГО ДУХА

О прозе Владимира Личутина

На обложке фото В. В. Личутина

Редактор А. И. Титов
Компьютерная верстка,
изготовление оригинал-макета М. В. Насонов

Подписано в печать 03.07.08.
Печать офсетная. Бумага офсетная
Формат 60x88/16.
Печ. л. 2,75. Уч.-изд. л. 2,3
Тираж 1000 экз. Заказ №



9 785880 100033

Издательство ИТРК
121812, Москва, Б. Тишинский пер, 38
Телефон: 8 (915) 022-10-30
Тел./факс: 8 (495) 789-60-14

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП
«Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»
140010, г. Люберцы Московской обл.,
Октябрьский пр-т, 403 Тел.: 554-21-86